

нению с Олеем работах. Коллежского регистратора Якимашенко, подканцеляриста Шахова за содействие "начальнику Корпуса" в изготовлении фальшивых паспортов и ассигнаций отдали в солдаты и выслали в дальние сибирские полки. Отставной капитан дворянин Майборода состоял в тайном обществе недолго, однако мнение следователей о нем составилось как о человеке, который "вмешался в партию Олея за питьем вина" и был безнадежным к исправлению. За готовность обучить заговорщиков военному искусству его ожидала ссылка на жительство в Тобольскую губернию под присмотром губернского начальства. Аптекарь Гезель также был лишен личного дворянства и сослан на поселение в Сибирь. Туда же последовал колонист Бем "для страха и примера другим". Самые молодые заговорщики семинаристы Султанов, Кошевский и Шульженков за недонесение начальству и членство в обществе были исключены из духовного звания и записаны в солдаты на 25 лет с отбыванием службы при херсонском военном коменданте Ганжи.

Главного "рыцаря" Карла Олея перевезли в Санкт-Петербург и поместили в Шлиссельбургскую крепость. Дело заслушали в Сенате и приговор Екатеринославской палаты был подтвержден императором: "Быть посему. АЛЕКСАНДР".



Семейная тетрадь

Фрагмент

Профессор Незведский — воспитатель сотен филологов в нашем городе. Но мало кто из них знал, что профессор написал ряд книг, которые остались у него в столе. Это дневник "Одесская тетрадь" — о годах оккупации — и "Семейная тетрадь", отрывок из которой мы предлагаем читателям.

Во мне течет столько кровей, сколько их может быть у коренного — четыре поколения по материнской линии — жителя южного приморского города.

Поляком и католиком был незнакомый мне прадед Антоний Незведский, с которого я веду исчисление предков. Женат был Антоний Незведский на украинке, и вот по этой прабабке я определил своею национальностью украинскую. Сын их, Василий Антонович — впоследствии многолетний ананьевский нотариус — был по законам того времени крещен в православной вере, что и определило его отход от польской национальности, где решающим был вероисповедный признак.

Так он оказался полуполяком, полуукраинцем. А затем женился на русской девушке Ольге Сиваевой, и их дети стали лишь на четверть своей крови поляками — в их жилах потекла наряду с польской украинская и русская кровь.

Хорошо помню, что отец мой определял свою национальность, когда такой пункт стал фигурировать в анкетах при Советской власти, как украинскую.

Теперь обратимся к материнской линии. Здесь окажется, пожалуй, еще больший национальный конгломерат. Дед по матери — Михаил Лазаревич Маркович — был черногорцем. Родители его, подобно многим, эмигрировали на берега Черноморья. Дед очень гордился своей принадлежностью к маленькому, но храброму черногорскому народу, и эта гордость была тем более примечательна, что воспитывался он в сиротском доме без родителей, которые умерли один за другим, когда он был еще очень мал. Он ездил потом в Черногорию, где как подданный этой страны получил национальный паспорт — огромный, как дипломы ремесленников старого времени.

Когда пришла пора жениться, Михаил Маркович избрал своей спутницей Вареньку Урсати, — кстати, гимназическую подругу другой моей бабушки, Ольги Сиваевой. Фамилия Урсати была молдавской и содержала в себе нечто медвежье, как и Недзведский: и та, и другая могут быть переведены на русский язык как "Медведев".

В роду Урсати также переплелись молдавская и украинская кровь. Украинская входила в этот род вместе с женщинами, а одна из прабабок была по фамилии Хаджили, то есть гречанкою. Но кухня у нас в семье была во многом молдавской. Это влияние было в быту, как видно, сильнее других, хотя все семейные предания и рассказы фигурировали в украинской речевой передаче.

Вот так встретились во мне кровь украинская, польская, русская, черноморская, молдавская, греческая.

Твердо, однако, я стою на том, что моя национальность — украинец. Ведь украинская кровь, пришедшая по отцовской линии от прабабки Недзведской, пополнилась еще и с материнской стороны.

Жизнь шла тем временем дальше. Я женился на девушке, которую годовалым ребенком родители привезли из белорусского села. И отец, и мать ее — коренные белорусы. Жена моя — Вера Милешко — выросла на Украине, любит Украину и украинское, как свое родное.

У нас две дочери. Каждая из них фактически наполовину белоруска, на другую половину приходится вся переданная им мною смесь национальностей. В этом секторе еще вдвое по сравнению со мной уменьшился украинский элемент. Но каждая из дочерей по наследству определяет свою национальность как украинскую.

Когда-то Драгоманов говорил о себе как об украинце "со всечеловеческими тенденциями" — хочу думать, что это применимо и к нам...

Я родился в доме Больма на Кузнечной улице Одессы, кажется, это номер четырнадцатый. Но уже с двухлетнего возраста жил на Торговой, 16. Это огромный, выходящий на три улицы (Херсонская, 19 и Елисаветинская, 4) трехэтажный дом из 64 квартир. Он имел три двора с тенистыми палисадниками и колодцем дождевой воды. Это дом моей молодости, в котором я прожил до 25-летнего возраста, с которым и дальше не порывал связи, потому что там оставалась жить мать, а теперь живет сестра с зятем.

Оживленно было на нашей улице. На углу Торговой и Херсонской располагался винно-гастрономический магазин грека Кутуллы. Сравнительно неподалеку, на Дерibasовской, находились, конечно, лучшие магазины с большим выбором товаров, но он был незаменим, когда в вечернюю пору появлялись гости. Тогда к Кутулле командировалась наша Ксеньюшка для срочной закупки гастрономии.

В магазине Кутуллы была большая по тем временам редкость — телефон. Сюда тоже командировалась Ксеньюшка для срочных приглашений гостей. "Леонтий Иванович! — звонила она, отрекомендовавшись, папиному двоюродному брату. — Вас с Антониной Михайловной наши просят сегодня на чай..."

Дальше вниз по Торговой была кондитерская тихой и скромной женщины Ивановой. Кондитерская была явно третьеразрядной, пирожные обычно покупались у Печеского или у Фанкони, но бабушка, когда гуляла со мной, неизменно останавливалась и толковала с Ивановой "за жизнь". Один из сыновей Ивановой был горбун и калека, которого долго возили в коляске — было о чем матери погоревать, а доброй соседке посочувствовать. Другой из сыновей (гораздо старше меня по возрасту), с которым я как-то разговорился в 1944 году, оказался неожиданно для меня проникнут украинскими симпатиями.

Тихо и незаметно, как и жили, все они ушли из жизни.

Соседом "кондитерши", как величали между нами Иванову, был мужской портной Аппой, у которого росла дочка Броня. Она была старше меня на несколько лет и в какие-либо контакты со мной не вступала. Впрочем, портной Аппой прославился не своей дочкой и не сшитыми им костюмами, а тем, что в 1917 году, примкнув не знаю уж к какой партии, стал домовым комиссаром нашего огромного дома, с большим рвением выполняя свои новые обязанности.

Позже другие лица возглавляли это "самоуправление" — существовал целый домовый комитет. Его возглавлял некто Зайдлер, живший в первом дворе, и я постоянно бегал к нему (уже позже, в девятнадцатом, двадцатом году) свидетельствовать различные справки, без которых и дня нельзя было прожить в ту беспокойную пору. Зайдлер принимал меня, несмотря на мои одиннадцать лет, на полном серьезе, и я потому охотно брал от родных поручения по связи с домовым комитетом.

Уже впоследствии, в 30-е годы, я встречался с сыном Зайдлера Мишей, заведовавшим отделом в обкоме комсомола, очень приличным молодым человеком, вежливостью своей походившим на отца. Мне всякий раз

было приятно с ним общаться, невольно вспоминая более ранние годы и свои посещения домового комитета. Очень было жаль Мишу Зайдлера, который погиб в 1937 году...

Вернемся к фасаду нашего дома.

Вслед за заведением Аппоя следовало ателье (хотя такого слова тогда не употребляли) часового мастера Авербуха. Так как первый этаж постепенно по направлению к Елисаветинской поднимался, то к часовому мастеру, в витрине которого всегда было "точное время", вела лестничка в четыре или пять ступеней. Напротив под акациями стояла скамейка, а на спинке ее рекламировался часовой мастер Авербух.

Квартиры Авербуха и наша на третьем этаже выходили на один черный ход, и я часто встречал его дочь — девушку с большой рыжеватой косой. Прошло много лет, и я встретился с ней в нашем Доме печати как с женой рабкора Маргулиса. Как ни втолковывал ей, кто я, втолковать не мог. С высоты пяти-шестилетней разницы в возрасте вспомнить соседского мальчика она не могла. Потом мы увиделись снова, когда минуло, пожалуй, еще три десятка лет. Была встреча выпускников Одесского Инархоза 1930 года, на которую пришли и некоторые выпускники более ранних лет. Оказалось, что мы учились в одном институте, хотя и не знали этого — она закончила Инархоз ранее меня. И снова с признанием соседства оказалось трудновато.

Торгово-ремесленные точки далее прерывались рядами жилых окон и двумя выходящими на улицу парадными ходами. А в самом конце дома перед поворотом на Елисаветинскую улицу шло большое "дело" — мебельное предприятие братьев Дрешер. Его вели двое братьев и муж сестры, вели, очевидно, неплохо, ибо всегда здесь былолюдно, а в годы НЭПа оно опять на несколько лет возобновилось.

Части дома, выходявшие на Херсонскую и Елисаветинскую, не были так насыщены торговыми "делами", но все же главным среди них был фруктовый магазин, который держал хозяин-армянин, рядом с воротами, выходящими на Херсонскую улицу, точнее, рядом с соседствовавшим с ними парадным ходом.

Многое можно было приобрести для жизни в своем же доме. Колбасу и ветчину, вина и водку, кондитерские изделия и фрукты, мебель и часы...

Принадлежал дом наследникам Перкеля. Один из них был врачом, другой инженером, а третий — не знаю кем. На дочку одного из них — Зиночку Перкель, розовощекую, румяную блондинку — заглядывались все мы, мальчишки принадлежавшего ей в каких-то долях домовладения. Не

помню уж, в каком разговоре и с какими москвичами возникло имя Зиночки Перкель, теперь проживающей в Москве...

Впрочем, из наследников Перкеля мы имели дело только с одним — мужем одной из дочерей-наследниц Исааком Григорьевичем Рашковичем, жившим с нами на одной площадке. Ему дед платил квартирную плату, обращался к нему как к домовладельцу.

Крупный добродушный мужчина, приятно роковавший чуть картавющим баском, Исаак Рашкович был большим специалистом по морским перевозкам и в этой отрасли работал вплоть до 1937 года, когда был арестован, в чем-то незаслуженно обвинен и погиб. Судьба небольшой семьи Рашковичей сложилась трагично. Сын Владимир был призван в армию и не вернулся с Великой Отечественной войны, жена Полина Давыдовна забрана фашистами в гетто и погибла.

Самым большим, наверное, событием моего детства, надолго его заполнившим беспокойным содержанием, был пуск в Одессе электрического трамвая, сменившего конную тягу или, попросту говоря, конку. А самое главное заключалось в том, что одна из линий трамвая под номером один "Ришельевская — Херсонская" прошла мимо нашего дома!

Сворачивая с Херсонской улицы, трамвай пробегал чуть-чуть, как говорится, с горки, маленький квартал по Торговой улице, делал остановку и двигался затем по Елисаветинской. А трамвай с Елисаветинской, там остановившись, медленно и тяжело поднимался по Торговой мимо нашего дома, мимо нашего балкона.

Это было для меня незабываемым зрелищем, которое я готов был предолго наблюдать. Я изучил затем все трамвайные маршруты города, которых набралось в конечном счете тридцать три. Даже сейчас, когда со времени прокладки трамвайных путей прошло почти семь десятков лет, я смог бы выйти на экзамен и безошибочно ответить все маршруты. Причем ответить даже "в динамике", поскольку на протяжении десятилетий маршруты, конечно, видоизменялись, а мой интерес к трамвайному движению, раз возникнув, продолжал теплиться.

Профессия трамвайного кондуктора долгие года представлялась мне самой интересной, самой увлекательной, и на традиционный, задаваемый детям вопрос "кем ты хочешь быть?" я решительно отвечал:

— Трамвайным кондуктором!

Конечно, странно было слышать такое от ребенка из обеспеченной интеллигентной семьи, но меня это не смущало.

Все приходившие в дом, а летом — приезжавшие на дачу родственники и знакомые были обязаны приносить с собой трамвайные билеты. Ах, как интересно было их собирать! Ведь в ту пору для каждой трамвайной линии печатались свои билеты, где был указан номер линии и ее название — начальные улицы маршрута. А на каждой линии были четыре рода билетов: прямые по 5 копеек и пересадочные (одесситы говорили: "с пересадкой") по 6 копеек; льготные ученические по 3 копейки и снова-таки пересадочные по 4 копейки.

Пересадочный билет, — хотя это, наверное, и так ясно — давал право пересест с ним на любую другую, с этим трамваем пересекающуюся линию. Все четыре сорта билетов кондуктор держал перед собой на металлической дощечке, причем они отличались по цвету и формату: пересадочные были длиннее прямых.

То же было на других линиях: можно себе представить, какую радугу являли собранные воедино билеты различнейших маршрутов. А восемнадцатый, большефонтанский маршрут — какое разнообразие билетов существовало здесь! Одни билеты продавались до 4-й станции Фонтана, другие до середины маршрута (кажется, до 10-й), третьи — до конца. Наряду с общими были ученические. Это многообразие просто казалось волшебством — только успевай собирать. А ведь так же было на Хаджибеевском маршруте, на Куяльницком!

Конечно, у меня были свои противники, портившие жизнь, срывавшие мое коллекционирование. Это были трамвайные контролеры. По хорошему мне известной инструкции они, проверяя билеты, должны были их прокалывать щипчиками, которые и носили в большинстве своем на браслетке и цепочке на правой руке. Так полагалось. Но многие вместо этого просто отрывали кусок от билета.

Поэтому по мере приближения в вагоне контролера я краснел, бледнел и мог разреветься разом, когда он отрывал кусок билета. Родители наперед торопились уговорить контролера:

— Вы уж, пожалуйста, не рвите билет. Ребенок их собирает. Пожалуйста...

Иногда это действовало, иногда нет. Был один контролер, который сочувственно относился к моим увлечениям. Он уже знал нас, здоровался с моими родителями. Был он маленького роста, я не знал его фамилии и про себя величал его "Маленький". Познакомились мы с ним на Хаджи-

беевской линии, когда летом жили на лимане, и я оживал, когда на проверку билетов приближался Маленький. Он долго работал на трамвае, и я встречал его, когда уже повзрослел, но, к сожалению, не догадался спросить его фамилию, хотя этот человек, бережно относясь к моим билетам, приносил мне столько радости.

Я был искренне огорчен, когда как-то на лето отец приобрел постоянный трамвайный билет (по тогдашним порядкам, с фотографической карточкой). Я понимал уже очень хорошо, что так экономится какая-то сумма: вокруг растет дороговизна, и с этим надо считаться. И все же было жаль, что от меня ускользает немалое количество билетов, которые мне мог бы сдавать отец.

Озадачивала меня и учительница французского языка мадемуазель Адель Порре, занимавшаяся со мной на дому. Она тоже, конечно, должна была, приезжая, сдавать билеты. Но вот один, другой, третий раз она приезжала без билетов. Выходя из вагона, она отдавала их безбилетным пассажирам — солдатам, едущим дальше по маршруту (хотя время было военное, солдаты, даже раненые, не пользовались никакими трамвайными льготами). Немного смущаясь, она сообщала, что отдала билет "бедному солдату" ("au pauvre soldat")...

Вот тут и возникло испытание для моего патриотизма: с одной стороны, я ведь сызмальства читал газеты, следил за военными событиями и не мог не сочувствовать солдатам, вчера пришедшим или завтра идущим в окопы. А с другой стороны, моя коллекция терпела явный урон... Все же благоразумие брало верх, и я смирялся с тем, что на этот раз коллекция не получала пополнения.

Конечно, эта коллекция могла бы вырасти до необъятных размеров, если бы не мама. Время от времени она ласковым голосом предлагала мне совместно заняться сортировкой билетов. Не предполагая каверзы, я соглашался. Обычно приглашался еще кто-либо третий, и мы в шесть рук приступали к делу. Сортировка (как мне об этом рассказывалось впоследствии) шла таким образом, что количество билетов уменьшалось то ли вдвое, то ли вчетверо. До следующей сортировки с таким же эффектом.

По этой причине ничего от моей трамвайной коллекции не осталось. А, наверное, такое собрание билетов (по одному каждого образца) могло бы представить интерес для истории города.

Все детство прошло под одним знаком:

— Хочу быть трамвайным кондуктором!

В шесть лет я был уже давно грамотным человеком. Читать я научился по уличным вывескам, хотя у меня были и разрезные картонные буквы, из которых можно было складывать слова. Уличные вывески были, однако, интереснее — за ними раскрывался целый мир. Чаще других я писал слово "Табак" — наверное, потому, что в городе было очень много табачных лавок.

Мне не было еще шести лет, когда началась первая мировая война. Помню день солнечного затмения, который совпал с событиями начала войны. Эти события сразу и надолго привлекли мое внимание. Дома у нас получали несколько газет, я имел к ним полный доступ и был всегда в курсе военных дел. Я брал от войны лишь внешнее течение событий: знал наизусть фамилии главнокомандующих фронтами — Северным, Северо-Западным, Юго-Западным, многих командующих армиями, и при их перечислении поражал слушателей тем, что длиннородного главнокомандующего Юго-Западным фронтом зовут Иванов Николай Иудович.

По субботам в дом приносили журнал "Летопись войны" — помесь журнала придворного, дававшего хронику всех высочайших путешествий, связанных с войной и пребыванием царя, когда он стал главкомом, в могилевской ставке, и патриотической летописи сражений на фронтах. Оценка журналу придет, конечно, потом, а покамест каждую субботу я жадно, по несколько раз перечитываю весь журнал.

Особенное впечатление производит на меня фото на первой странице одного из номеров: английский солдат, замученный в немецком плену. Снимок сделан в ночное время, что усиливает тягостное впечатление. Дома считали, что со времени появления этой фотографии я стал кричать сквозь сон. Однажды отец зашел ко мне в комнату и увидел, что сын во сне снимает со стенки огромный портрет, висевший над диваном. Семья решила — нервный ребенок. Меня стали оберегать от лишних нагрузок и поэтому не учили музыке. Об этом я весьма сожалею, так как при отсутствии музыкального слуха некоторое музыкальное развитие мне было бы полезным.

Интерес к военным событиям связан был еще и с тем, что на фронте оказался мой двоюродный дядя Алексей Георгиевич Никшич. Он закончил физико-математический факультет Новороссийского университета, его оставляли при университете (по-нынешнему — в аспирантуре), но молодая жена хотела, чтобы муж поступил и в институт инженеров путей

сообщения, — так как карьера прельщала тогда многих. Но пока они думали, вспыхнула война, и дядя вместо института попал в артиллеристы: ранее как вольноопределяющийся он прошел основы военной премудрости.

Приехав с фронта на побывку, дядя читал свои записки, и я старался не пропустить ни одного слова. Хорошо помню эти чтения в нашей столовой.

Дядя Никшич дослужился до штабс-капитана, пребывая все время на передовых позициях и отличаясь личной храбростью. Был отмечен неоднократно боевыми орденами. Вторую часть войны он провел в зенитно-артиллерийской батарее в Ковно. Он был одним из первых русских офицеров-зенитчиков.

На передовой был и дядя Витя — военный врач Виктор Флорианович Снитовский; его рассказы о войне были весьма суровы, — наверное, в полевых лазаретах он видел много жертв и много крови.

Очень скоро с войны пришло известие о гибели поручика Гудкова. Это был такой же мировой судья, как и наш папа. Его жена была гимназической подругой мамы, а дети Таня и Вова, о которых сразу стали говорить "сироты", были моими товарищами по играм.

Я понял, что война угрожает и мне, что у нее совсем не парадное лицо.

Против нашего дома, на перекрестке Торговой и Херсонской, изо дня в день стоит городовой. Я хорошо знаю его в лицо: всякий раз я смотрю на него, когда мы проходим мимо, направляясь на прогулку. Мое внимание особенно привлекает оранжевый шнур, который, обхватывая толстую его шею, тянется затем к висящей на боку кобуре.

Всякий раз, когда я капризничаю, мне угрожают городовым: то ли отдадут меня ему, то ли вызовут для устрашения.

Мы собираемся переезжать на дачу и, проходя очередной раз мимо усатой физиономии городового, я вполголоса, но достаточно четко говорю по его адресу:

— Не будешь ты меня больше видеть, не будешь.

Я уверен, что с переездом на дачу окажусь недосягаемым для городового.

Такая свобода и независимость оказываются действительно в моем распоряжении в первые дни после переезда на 16-ую станцию Большого Фонтана. Городового здесь нет!

В один из дней я распоясываюсь по какому-то поводу и начинаю реветь.

Вдруг — о, ужас, передо мной в отдалении аллеи вырисовывается фи-

гура городского. Нет, не того, который стоит у нас на углу Торговой и Херсонской, а какого-то другого, но очень похожего, тоже с усами и тоже с оранжевым шнуром, тянущимся к кобуре.

Я потрясен этой вездесущностью стража порядка и немедленно смолкаю. Происходит немая сцена. Ее с любопытством наблюдают старшие. Потом, спустя многие годы, они не раз будут эту сцену вспоминать и комментировать.

Но самое опасное заключалось еще в том, что этот визит усатого не был единственным случаем. На даче грека Диалегмено, где мы поселились, садовник выращивал изумительные розы — красные, розовые, белые, вызывавшие у всех восторг. Городовой и являлся на дачу — если не ежедневно по утрам, то, во всяком случае, достаточно регулярно за розами, которые садовник тут же ему нарезал, свежие и благоухающие.

Получал ли он розы для своего полицейского начальства, для себя ли и своей жены — не знаю, но на даче он появлялся на протяжении всего лета, и его приход имел отрезвляющее влияние на мой прескверный детский характер. Реветь и кричать нельзя было, оказывается, не только на углу Торговой и Херсонской, но и на 16-й станции Большого Фонтана.

Всюду оказывался городовой.

Я видел, однако, не только живого городского, или, вернее, не только живых городских, а и самого императора и самодержца всея Руси Николая II. Во время первой мировой войны он приезжал в Одессу дважды, в 1915 и 1916 году.

В 1916 году мы жили летом на Хаджибеевском лимане на даче Яновского, вблизи знаменитого своими более чем столетними дубами парка, где в большом пруду плавали белые и черные лебеди. В лечебнице Хаджибеевского курорта был в ту пору устроен лазарет для раненых, и вот сюда-то, как стало известно, должен был пожаловать к ним августейший гость.

Мне шел восьмой год, два года я уже читал газеты, а по журналу "Летопись войны" был прекрасно ознакомлен с лицами Николая II и всей царствующей семьи, передвижения которой были представлены на фото-снимках этого журнала.

Не помню, было ли это воскресенье или другой "неприсутственный" день, но отец был дома и предложил мне пойти "смотреть царя".

Мама не возражала, и я, взявшись за руку отца, чинно последовал за ним по направлению к парку. Мы зашли сюда через дачные ворота и направились по аллеям к главному входу. Этот парк всегда восхищал свои-

ми могучими деревьями, которые где-то наверху сплетались кронами, создавая сплошную тень от зеленых шапок, закрывавших небо. Более густого парка, чем Хаджибеевский, я не видал; вот почему, написав выше о столетних дубах, я засомневался: не посажены ли они были еще до основания Одессы, так что, может быть, надо говорить о них как о двухсотлетних? Во всяком случае, я очень любил собирать под ними желуди и, так как в ту военную пору уже появились пакетики желудевого кофе, искренне интересовался, нельзя ли дома с моей помощью как сборщика желудей организовать производство кофе...

Когда мы подошли к главному входу, здесь оказалась большая толпа людей, ожидающих царского приезда. К моему удивлению (а может быть, и робким возражениям), папа, крепче сжав мне руку, вывел за главный вход и повел к трамвайному пути, а затем и дальше вдоль рельсов.

Мы остановились. Я вопросительно посмотрел на отца. "Тебе Ходынки захотелось? (Я к тому времени слышал уже — и не раз — о Ходынке). Здесь будем ждать".

К нам присоединился знакомый трамвайный контролер, которого я называл Маленьким. Подошли еще двое или трое человек. Завязался разговор, когда появился автомобиль. Большой, открытый. Один, второй...

Расчет отца оказался правильным. В толпе встречающих у главного входа я бы никого не увидел. А тут на широком просторе мне не мешала ничья голова. Нас, несколько человек, заметили в машине, и она чуть замедлила свой ход. Пехотный полковник, так хорошо знакомый мне по "Летописи войны", милостиво помахал рукой...

Так в тот летний день 1916 года я повидал последнего русского царя ближе, чем многие другие...

